

Кончилась в Разумовке жизнь: Ксено – в амбар, трактор – в ангар, и терпи, деревня, до весны, когда работа будет. Руку в карман засунул, а там деньги мурлычут. Чего мурлычете? Мало мне вас на зиму будет – один уголь семь тысяч за машину! Горько мне, Володьке Плюеву, на свете маяться. Уж тридцать лет маюсь, а ни дня по-людски не прожито.

Стонет крыльцо под ногой, дверь скрипит, точно мамка-покойница причитает, а не могу я прочь пойти – горит нутро моё, лекарство просит.

– Здорово, – говорю, – Марья Иванна.

Машка глаза от журнала подымает и меня искать. Не видать из-под жиру-то людей, разъелась совсем девка в тепле магазинном, не знает ни рука, ни спина труда.

– И тебе не кашлять. Чего надо?

Я только слово на язык положил, как она вся лицом искривилась и наверх полезла.

– Одну?

– Чего, – говорю, – одну? Две давай. Жатва кончилась.

Ставит на прилавок три беленьких. Блестят красавицы, аж за душу берёт.

– Всё равно за третьей побежишь.

– Авось, не побегу. Чего ты?

Но бутылки беру. Машка провилица, чай, недаром в гороскопы глязеезет. На небе написано, что побегу.

– Чего народ говорит?

Пальцы её толстые, как бычки, аппарат клюют, а сверху квитанция лезет. Смотрю – прямо приговор смертный: полтысячи! Прощай, кровная валюта!

– Билеты берут.

– До Парижу?

– Да чтоб ты в речке утонул со своими шуточками! Лотерейные.

– Ой-ой-ой. А много дают?

Царица широко зевает и на стул садится, как на престол.

– Не хочешь – не бери. Говорят, мужик какой-то с третьей фермы мульон выиграл.

– Чай не брешешь? Мульон целый?

Машка бельмами своими сияет на меня, как на пропащего, и опять в журнал глядеть.

– Ну, давай три. Уболтала.

Плюю на пальцы грязные, тру, где у билетов полагается – ни черта нет! Эхма! Гляжу на родную деревню – тоска. Солнце глядеть не хочет на нас, окаянных, за бугор прячется. Под ногами грязь чавкает. Ветер, паразит, спину щиплет, смерти моей хочет. Скоро колотун по всей земле делается. Завоют тогда звери белугой, заплачут люди. Эх!

Слышу лает кто-то. Глядь: пси-на какая-то бежит, хвостом, как метёлкой, машет.

– Чего тебе, шавка, надо? – говорю, а она об ноги трётся, будто кошка, только не мяукает.

– Есть поди хочешь?

Гляжу в пакет, а там, кроме девок моих, нет ничего. Глаза у псины как пуговицы на моей спец-овке. Шерсть хорошая: вся белая-белая, как сахар, а уши и загривок дегтярные, точно вымазалась где. Чешу тявку, а она пасть свою длинную открыла и дышит, будто рада мне.

– Чья ты такая?

Молчит.

– Коли хочешь, шустри за мной. Калача дома найду.

– Плюй, здорова! – кричит рыжий Сенька. – Займи до получи-ки.

– Неоткуда получку теперь брать.

Я дальше себе иду, а он на заборе висит, паскудник, и всё смотрит на меня, изучает. Я его мысли понял и сразу сказал: «не дам». Он огорчился, а потом слышу вслед:

– Плюй, ты себе сучку новую завёл? Фроське замену сыскал?

Я до него, а он за забор ныряет и всё – не достать.

– Ты язык-то прикуси.

– Чего язык? – пищит Сенька. – Слышал, что Фроська в город едет?

– Что ты мелешь?

– Сходи к ней да спроси.

У меня аж сердце защемило. Широким шагом, будто на ходу-лях, я по грязи бегу до Фроськи, как тут мне попадается Аглая Три-фонова.

– Володька, бегаешь всё. Так и померёшь на бегу.

Лицо у неё маленькое и ску-

коженное, как печеное яблоко. Смотрю на неё, а в голове мысли забегали: бабки уж нет, матери не стало, а эта, вон, сидит себе на скамейке, и ничего ей не делается. Вдруг старуха раскрыла беззубый рот и засмеялась, как шальная.

– Людям жрать нечего, а он с собакой таскается.

И так она смеётся, что гляжу на собаку, а та аж хвост прижала со страху. Ведьма!

Вскоре выросла предо мной любимая калитка, отворил я её и застучал в дверь. Изба у Фроськи что надо, из кирпича. Выходит ко мне Кузьма, кряжистый мужик, солидный. Жилетка на нём сидит из соболиного меха, а по щекам видно, что уплетал что-то.

– Нету Фроськи. Закрыли молочку, вот она в город и пода-лась.

Хорошо тебе, сельскому старосте, над детьми власть иметь. Хочешь – в город, хочешь – в деревне оставишь.

– А я? Про меня говорила чего?

Лапой широкой по плечу меня хлопает, точно сына родного, и горько так говорит:

– Нет здесь жизни, Плюев. Зиму бы пережить.

– Я ведь не попортить девку-то, Кузьма. Я с намерениями.

Достаю из-за пазухи билеты несчастливые и говорю:

– Вот, глянь, Кузьма. Накуплю билетов и мульон выиграю, как мужик с третьей фермы! Отдашь за такого зятя свою дочь?

А староста мне:

– Брось ты эти фантики. Вся деревня с ними с ума посходила.

Он руку так сжимает, что аж плечо свербеть стало.

– Будет калым какой – дам

знать. Терпи, Вовка. Мы, русские, друг друга в беде не бросим, всем селом терпеть будем, – потом молчит такой, оглядывает меня, как лошадь кривоногую: – А ты, гляжу, совсем барином стал, шавку завёл.

– Ай, чего там! Сама тварь пристала.

– И с этим делом, – он два пальца на горле зажимает, – ты бы полегче. Угоришь, как папка твой.

Горе мне, горе! Чего с ним якшаться, когда Фросенька моя уехала.

Топчусь я до дому, словно нет у меня его, дома-то. Только собака плетью меж ног вьётся и хвостом машет. Эх ты, блаженное создание, всё тебе радостно, когда хозяин рядом. Жучкой тебя кликать буду.

Вошёл в избу, истопил печь вполсилы, чтоб угля зазря не переводить. Собачатину накормил, помыл да и в доме оставил. Не по-человечьи друга в будке держать – всякая тварь в тепло хочет.

Скользнула вниз по горлу микстура: глаза от горечи увлажнились, дыхание перехватило. Чувствую, как течет по венам жизнь, как поднимается в теле благое тепло, а из головы думы гадкие прочь лезут. И хорошо мне.

По телевизору идёт местная передача: сидит Платонов, голова наш, розовощекий, откормленный, как боров на выставке, а рядом девчущечка с микрофоном, ладная вся такая. Любовница небось.

– Аристарх Аристархович, – щебечет птичка, – какое будущее у молочного предприятия?

– Современные реалии таковы, что прибыль – единственное мерило правильности решений. Собственники предприятия пришли к

заключению, что сотрудничество с Китаем в аграрной сфере будет куда эффективнее, нежели переработка и последующая упаковка молочной продукции.

– Но ведь многие люди в районе лишились рабочих мест.

– Ну, что поделаться? Лес рубят – щепки летят.

Лес, щепки! Тебя бы порубить, чтобы дурь вся из твоего рыла улетучилась. Эх, выиграть бы мультон, да вместе с Фроськой такую свадьбу состряпать! Завтра надобно опять за билетами навдаться, а то с этим мордоворотом выживешь тут. Гадина ползучая! Нехристь! Долго ещё гневаюсь на голову, пока хмель не берёт своё. Тогда я уж крепко сплю.

Вдруг всё белым-бело делается – сослепу помрёшь, куда ни глянь. Я zenки тру, а сам слышу, будто девка какая говорит. Смотрю – так это же Фроська стоит, берёзонька моя чернобровая.

– Фрося, – говорю, – на кого ты меня оставила?

А она вся сияет, как армейская бляха, и улыбается губами мармеладными.

– Фросенька, – говорю ей, – чего молчишь, дурындочка?

Позади меня слышу мать:

– Сожрёт тебя псина, Вовка-дурак.

Оборачиваюсь, а будто и не было её – пусто. Я снова к Фроське, а девка лижет меня, как собака.

– Чего лижешься? – говорю, а она ещё пуше – в глаза мне лезет.

Ну, я тогда моргалки свои открываю, гляжу – Жучка всё лицо измочалила и довольная стоит.

– Кушать хочется?

Шавка смотрит на меня умно-умно. Может, охотничья псина-

то? Будем с ней тогда на тетерева ходить, только ружьё достану.

Достаю миску, хлеб с водой туда – и вот собачье угощение. Уплетает моя гостья, ажно зубами об железку бьёт.

Слышу, во двор кто-то пожаловал. Выхожу в сени, а там уж сосед топчется.

– Плюй, – говорит, – дай кастрюлю.

– А с твоей чего? Папка из ружья в дуршлаг превратил?

Сенька глаза в пол прячет, как девка на танцах.

– Но-но, – говорю, – я вашу семейку знаю.

– А чего тебе семья сделала? – осмелел Сенька. – Зима-то вон как рано пришла, на реке уж льдины плавают. Кончится твоя заначка, куда за харчами просить пойдёшь? К нам же и пойдёшь. Как в давешнюю годину, аль не помнишь?

– Ладно, ладно! Дёрнул меня чёрт к вам с рукой протянутой пойти! Три года минуло, а вы всё плешь едите.

Торжествует Сенька, падлючий сын.

– Обожди, – говорю, – сейчас из летней кухни достану.

Я только сотейник в руки взял, как гляжу – Жучка из дому вылетает, а за ней Сенька бежит.

– Стой! Ты чего, чёрт проклятый, учиняешь в избе моей?

Жучка за меня прячется, как дитя за тятю.

– Да твой барбос к тебе в дом залез. Я и погнал его. Где это видано, чтобы в деревне, да ещё и в насытую пору, блохастый в доме жил?

– Нет у неё блох! Брешешь!

Сенька аж челюсть на пол бросил.

– Что же ты, Плюй, с собакой, как с бабой, в доме живёшь? И спишь поди вместе?

– Ух, бестолковый! – погоняю дурака этого прочь, да всё скороваркой по голове ему стучу, чтоб ума прибавилось. – Держи кастрюлю, чёрт языкастый! – и бросаю ему в спину так, что тот с кастрюлей на землю валится. Ну и поделом!

Захожу за ограду, и горько мне делается: всё скособочено, всё криво стоит. Когда посевная или жатвенная, работаешь до беспмятства, чтобы день быстрее шёл, домой воротаешься, и всё вроде ладно. А как зима в ворота, так сразу тошно делается, и дела никакого нет, чтобы на жизнь эту не глядеть. Тогда или в бутылку, или в петлю лезешь.

Стою возле магазина, а в руках билеты трепыхаются. Один тру, второй – ни копейки не выиграл.

– Здорово, Володька, – говорит Кузьма, а сам смотрит на меня, как рыба, одним глазом, да хитрющим, будто знает чего дурного и молчит. – Нет ещё калыма никакого. Говорят, китайцы из местных будут набирать.

– А чего делать?

– Чёрт его знает. Грядки полоть, небось. Мочевину в помидоры впрыскивать. Видал, какие они большие, размером с кулак поди? Откуда такие берутся?

– Мне лучше мешки ворочать, нежели в земле рыться. Я на бабий труд не гош.

– Тяжко тебе без бабы-то. Говорят, собаку на постель пущаешь?

– Вот кто говорит, тот поди и похуже чего делает. А я псину в избе держу. Породистая она, охотничья поди.

– Володька, Володька. Ни ума, ни кошелька не наживёшь. На чёрт она сдалась тебе?

Я только рукой машу и прочь от него, дурака старого, а в голове слышу: «А и правда, Плюев, на что тебе собака, лишний рот в голодную годину?» И сам себе отвечаю: «Ну, как лишний? Она же друг мне единственный на свете. Как без друга-то?»

Только воротился домой, а Жучка уж на задние лапы встаёт и меня обнимает. Любит она меня собачьей душою, не могу её прогнать.

А на третий день опять ни шиша. Как тот мужик мульон выиграл – ума не приложу. Чай, обдурила меня Машка, чтобы фантики свои втюхать.

– Не выиграл? – скрипит Аглая Трифионовна. – Поди домой, собака тебя поцелует.

– Старая, а всё туда же, – говорю ей, а она губы в трубочку, чмокает и смеётся, точно пьяная какая. Ведьма!

Так я всю неделю и хожу за билетами да за водкой, и кроме горькой, не получаю ничего. И всяк раз воротаюсь, как Жучка хвостом метёт, ждёт поди сытных харчей, а мне, знай, и самому жрать нечего.

Страшно у нас ночью зимой: ветки по окнам стучат, вьюга воет. Я свет выключаю для экономии, только телевизор синим пламенем в комнату светит, да и печь еле кряхтит. Сижу, пью без закуси, чтоб градус не терять, а мысли дурные чего-то не проходят, а всё вокруг жизни моей крутятся бестолковой. Ох, ещё пуще меня тоска берёт, не помогают нынче девки мои блестящие! И тут, как на зло, Жучка на меня глядит, точно с укоризной.

– Чего ты глядишь, образина? Правду говорят: лишний рот зимой, что камень на шее.

Жучка поскуливает жалобно.

– Чего скулишь? Мясa хочешь? Да где ж его взять, когда у меня живот к спине липнет, а ты всё одно знаешь – жрать подавай!

Я встаю и грозно так смотрю, руки в боки поставив.

– Убирайся ты, Жучка, по добру по здорову. Нет нам места в одном доме.

Отворяю дверь, и со двора метель заходит злая, снег на порог ложится, а собака не шевелится.

– Пошла прочь! – осатанел я совсем, обезумел и как дам Жучке ногой под хвост, что та аж вскрикнет и на улицу бежит. Но только на крыльце оказалась тварь, как встаёт, словно вкопанная, и на меня давай глядеть.

– Ах ты паскуда! – кричу я и за ней.

Собака бежит вперёд, всё назад оглядывается, а я не отстаю, гоню её, дрянь, хотя не видать ничего. Смотрю, далеко Жучка впереди, вроде у реки уж, а меня такая злость берёт, что гадом буду, но догоню и задам трёпку! А метель всё глаза застилает, проходу не даёт. Вижу тёмный образ вдальке: то бежит, то останавливается. Иной раз смотрю – и нет уж никого, а сам раз – и в воде по колено.

Шавка лёгкая, вот её лёд и стерпел. Убежала, скотина. Так и надо! Прощай, Жучка! Прощай!

Дни идут, как зубная сера: чёрные, тягучие. Нет Жучки, я теперь и не говорю ни с кем. Иной раз голосу дивлюсь своему, когда нечаянно выругаюсь. Скучаю по собаке.

– Здоров, сосед, – Сенька в

валенках да в тулупе стоит, весь белый, как из сугроба вышел.

Я и не ждал никого, оттого и прикемарил на кресле, пока этот охламон не ввалился и сон не украл.

– Чего тебе? Кастриюлю воротить хочешь?

А он с ноги на ногу переминается, точно затевает чего.

– А где твоя собака?

У меня аж лоб в складку одну собирается от удивления.

– А чего тебе?

И тут он оживляется.

– Да тут, Вовка, по телевизору Платонов выступал. Знаешь чего говорит? Собаку, говорит, охотничью близ нашей деревни потерял, найти никак не можно.

– Я тебе почто?

– Ну, Жучка твоя...

– Так уж времени-то сколько пролетело.

Сенька красный, как в жару попал, садится на кресло и давай руками махать.

– Да это она и есть, Плюй! Голова за неё мультон обещает!

Ёкает у меня сердце, а в глазах всё расплывается, точно хмельной я.

– Да за мультон можно всю деревню зимой обогреть! Фроська воротится! Плюй! Давай сдадим собаку!

– Нет у меня её. Прогнал я.

Сенька побелел мертвецки, глаза из глазниц выкатил на меня и шёпотом:

– Как?

Нечего тут говорить – прогнал и всё. Уходит Сенька, ни мне, ни себе не веря, да, видать, вся деревня передачу смотрела, – тут уж и Кузьма пожаловал.

– Калым, – говорю, – появился, или ты на чай идёшь?

Он уж мне плечо не бьёт, не сын я ему, а благодетель прям. Стоит, ушанку в руках держит, а глаза жалобные такие, как у старрой бабы.

– Отдай голове собаку, Володька. Я за тебя дочь выдам.

– Сказано: нет собаки! Прогнал я её!

И кто только не ходит ко мне. И даже Аглая Трифоновна на колени падает, милости моей просит. Не понимает никто, что нету Жучки в доме, ушла она. А вечером слышу – машина какая-то встаёт, а вокруг ропот людской, вся деревня собралась. Из машины выходит мужик и напрямки ко мне в избу. Его сразу-то не узнать, а как пригляделся, так и ахнул.

– Ты же Платонов, голова наш!

Он сесть хочет, да на диван смотрит так, будто там корова дохлая лежит, и на ногах остаётся.

– У вас, говорят, моя собака?

– Да мало ли чего брешут!

Он в карман лезет, а оттуда пачка выглядывает, круглая, как свиной пятак.

– Владимир, – говорит, – давайте договоримся. Мне собака эта дорога, как подарок покойной жены. Понимаете? Память важнее денег.

И тут я взмолился, чуть в ноги не упал голове.

– Платонов, благодетель наш, заступник, нет у меня твоей псины, выгнал я её в студеную ночь. Она всё жрать да жрать, а я сам – кожа да кости, погляди на меня.

Он на меня с таким презрением смотрит, пуще, чем на диван, затем уходит туда, откуда пришёл. А я стою, ни жив, ни мёртв, и вспоминается Жучка мне, как она рада была, как хвостом махала, и шёр-

стка её дегтярная, и глаза пуговицы. Но не долго я о ней думаю – врывается в избу деревня и стоит супротив меня, подбоченясь.

– Отдавай, – кричит Сенька, – деньги, Плюй. Не хотим с голоду подыхать!

– Да что мелешь, пустая голова? Какие деньги? – говорю.

– У него они, у него! – кричит Аглая. – Что, голова за просто так поедет в нашу дыру? Я сколько лет жива, а голова впервые появился!

– Да ты у него спроси, ведьма проклятая! Ни рубля он не дал!

– Володька, – говорит Кузьма, – отдавай по-хорошему. Поделим по-людски, по-русски.

– Нету! – кричу.

И тут из толпы с ружьем выходит седой плечистый мужик, Сенькин батя. Ничего я сообразить не сумел, как ошпарила мне плечо пуля, а окно сзади в щепы разлетелось.

– Лови гада! – кричит Аглая, а я уж в то окно шмыгаю.

Бегу босой ногой по снегу и чувствую, как в спину дышит мне злая толпа, а возле самых ушей пули жужжат, как шмели.

– Володька, стой! Окстись, Плюй! Плюй! Стой, гад! – кричат

мне разные голоса, а я чувствую, как ступил ногой на что-то хрупкое, точно на стекло. Гляжу – лёд, тот самый, под который давеча по колено ушёл.

Эх, была не была! Бог не выдаст свинья не съест! Иду я тихой поступью, точно в храме, боясь дьячков перебить да молящихся, и даже пули за мной не гонятся. Оборачиваюсь, а там все погонщики возле реки встали, и духу у них не хватает за мной пойти.

– Воротись, Вовка, – кричит Кузьма. – Утопнешь ведь!

Я хочу сказать «чай не утопну», как льдина проламывается подо мной, и только макушку теперь ветер обдувает. Я глаза открываю, и, батюшки святы, Жучка прям передо мной как живая, да не шелохнётся! Одна у нас жизнь была, одна и смерть! Я руками за льдину цепляюсь, чтобы выползти, а она – хрясь – и проламывается. Я за вторую, и она туда же. Хочу к третьей подплыть, но чувствую, как в дерево ноги мои превращаются, и руки тяжёлые, точно из железа сделаны. Я только хочу ещё хоть разок попытаться, но становится темнее, темнее, темнее. Всё. Кончилась в Разумовке жизнь.